

Игорь Гергенрёдер

Стожок на поляне

Памяти дяди Павла

1.

Хвоя, мох под ногами; малохоженный гулкий бор. Белка скользнула с ели на ель. Поёт дрозд на суку. Прохлада рассветная. Гуще туман; лес расступился - река. Курится пар над медленной водой. За туманами вдаль, в выси - розовеет. Вот-вот выстелется малиновая полоса. По липкой тропке - к пристани с настилом гнилым. Прилепилась пристань к глинистому откосу; кругом вязы торчат: обломанные, дуплистые. Отжили. Но как уместны!

Заскрипели под ногами доски. В открытой будке сторож сидит. Он же - и матрос причала, и кассир. Тщедушный старичишка в тельняшке. С газетой «Социалистическое земледелие» за 14 июля 1931 года.

- Моя пришла. Здоров утро говорит!

Не отвечая, старик поскрёб в бороде, разгладил на тощих коленях газету.

- Моя на Самара нада!

Сторож ещё добрых три-четыре минуты не отрывает глаз от газеты.

Наконец поворачивает голову. Исподлобья глядит.

- Что твоя читал? Что сердитый так?

Старик втянул воздух, отхаркнулся, пустил плевков через весь дебаркадер.

- Не понять тебе наших делов, приبلудный ты человек.

- Э-э, зачем твоя обижает? Сидорка давно на Волга. Тут лес, и Сидорка в такой жил! Урман.

- То-то и дело, что урман, - сторож сложил газету, спрятал под тельняшку.

- По-людски говорить не выучишься. Смыслу в тебе нет! И душевного отклику!

Быстро тает туман. Солнце. Внизу по реке - островки; по правому берегу - сосновый мачтовый лес, по левому - поля, деревня. А по реке вверх, за водной далью, горы под шафранным небом. Царёв Курган. Стенькин Утёс. Жигули.

- Ты, Ложкарь, - угрюмо сказал старик, - от кормильца свою, от Егора Федорыча, отрёкся. А Рогнедку вскормил, чтоб сластиться ей. Тебе сколь?

Полста годков, поди? А ей шешнадцать, али и тово нет ещё?

- Э-э, твоя злой! Егор кулак был! А Сидорка батрак был! Твоя как враг говорит.

Старик ёрзнул на лавке, зырк-зырк по сторонам, закрылся в будке. Ух, язык клятый, чтоб те отпасть! Через минуту выглянул:

- Сидор, тебе до Самары? Ты билет не бери, я тебя так пушу, - и потряс газетой. - Думаешь, про чего в ней разбираю? Про мироеда, врага! Как нам с тобой его изничтожить! Ты, Сидор, учти моё понятие.

Когда низкорослый мужик в заплатанной, до колен, рубахе, обшитой красной лентой, отошёл к перилам дебаркадера, сторож прошептал:

- Язви ты! И откель только попёрла эта чума...

Колотьё в груди. Господи, оборони... Возле Воздвиженки один из таких вот шатался - лесной объездчик... всё самогонку искал. А после - на-а! Револьвером машет! Уполномоченный РИКа... Брата с пятерьмя детьми - за двоих лошадок и телков двоих - на Соловки!

2.

Сверху шёл похожий на торт «Марксист» - бывшая «Франция» известного до революции пароходного товарищества «Кавказ и Меркурий». Борты розово-палевые, палубные надстройки - цвета сливок. Колёса завращались в обратную сторону, гася инерцию, взбивая плицами рыжеватую пену. Сторож наматал канат-чалку на тумбу.

На палубе, к носу ближе, стоял внушительного облика полный человек в чесучовом френче. Выбритое лицо спокойно-тяжёлое; глаза маленькие, глубоко сидят, друг к другу близёхонько. Остановились на плосколицем мужике в заплатанной рубахе: смоляные, с резкой сединой волосы закручены в косицу, усы вислые, бородёнка жидкая.

- Эй, Сидор, садись в каюту! - сторож хихикнул, оглянувшись.

Закинув за спину мешок, человек в рубахе до колен поднимался по тропке от дебаркадера.

Из-за ветвей следил, как отваливал пароход, как, бурля воду, пошёл вниз. На палубе с десятков пассажиров.

Всплески поднятых волн, стрёкот сороки в бору; медно-красные стволы - один другого стройней. Всё звончей щебет бесчисленных птах.

Солнце взошло. Орёл в выси пролетел к Стенькину Утёсу; божья коровка на рукаве - пунцовая бусинка.

Жарко; манит вода искупаться. Шныряют над ней ласточки-береговушки. К чайкам, что над водой зависли, мерно помахая крыльями, ворона присоседилась. Неуж собралась нырнуть за рыбёшкой?

Ой, да ты Волга-река,

Волга-матушка.

Ой, да лёгок чёлн

Под крутой горой.

Лодка ткнулась в песчаный берег. Рыбак, по пояс голый, проявленный на солнце, в закатанных портках, спрыгнул в воду. Спутанные ржавые волосы, кадыкастая шея.

- Ложкарь, пособляй давай! Бери бредень. Счас другой конец заведу, авось вытянем чего!

Человек в заплатанной рубахе скинул мешок, торопко засеменял к рыбаку, ухватил кол с привязанным краем латаного-перелатанного бредня. Рыбак оттолкнул лодку веслом, погнал против течения, напрягаясь мускулистым телом; растянул бредень во всю длину.

- На воблу одна-то надежда, Ложкарь! Согнали скотинку в общее стадо, а Степуган-пастух, прощельга, как ты. Ни кола, ни шавки! - вытолкнув лодку на мель, рыбак давал течению выгнуть бредень полукружьем. - Степуган-то до зорьки пьянхонек, овечки падают, коровёнки бредут куды ни глянь - голоднющие! Лепёхи с корой печём. Не уродится картошка али выгребут - побираться пойдём.

Плосколицый прищурился.

- Э-э, Тихон! Лес большой. Гриб кормит. Ягода кормит. Урман знать нада. Волю хотели, урман остался...

- Ты заходи в воду-то, чудь лесная! - рыбак выругался. - Тяни враз!

Охнув от натуги, вытащили бредень. Забились плотва, башклейка, краснопёрки, окуньки; с дюжину - лещей, воблин. Рыбак, бегая, хватал рыбу, кидал в лодку. Когда последнего подлещика бросил, обернулся:

- Ты, Ложкарь, опёнком проживёшь! Чай, и сети от Егора Федорыча есть. Рогнедка пособит! Ночью рыба-то у берега вся. Порыбачите - и под кустики, порыбачите - и...

Плосколицый, глядевший в резко-жарящее небо, вдруг бросил руку назад. Рыбак ойкнул, прижимая к животу ладони, медленно согнулся до земли, словно отвешивая поклон, переступил с ноги на ногу, рухнул набок.

Густеет зной, тускнеет небо. Жигули будто приблизились. Река плавно течёт, посверкивает. На том берегу, между изб деревни, - фигурки редкие. Голые ребятишки не плещутся в воде - возьтятся деловито: раков ловят. Костёр разожгли.

Человек в заплатанной рубахе присел на борт лодки; на босу ногу - самодельные опорки из сыромятной кожи. Бесстрастно лицо; широко расставленные узкие глаза вперились в даль, подёрнутую дрожаще-пыльной дымкой, в Царёв Курган. Зашевелился рыбак на песке.

- Во-о ты как открылся... ловок убивать! Убивай! - запрокинул косматую голову, зарыдал, как залаял; заходил кадык на гусиной шее. - Детишки с Троицы на болтушке. Окунишку боимся съесть - впрок бережём. Мать схоронил: как щепку, в гроб клал!

Плосколицый поднял мешок, пошёл взгорком к лесу.

- Бережёшь Рогнедку? Бережёная и протянется!..

3.

Знойны были в Екатеринбурге июньские дни девятнадцатого года. А ночами от дыхания - парок.

В иную ночь отрывался от службы капитан колчаковской контрразведки Ноговицын. Брился, оставляя узкие, разделённые под носом усики. Сноровисто седлал лошадей Витун. Ражий малый лет двадцати пяти, в тазу такой же широкий, как в плечах.

Капитан вскакивал на киргизскую кобылу: злую, тонконогую, с крепкой спиной, с низким длинным крупом. Просёлками, тропами, через тайгу - к озеру Таватуй.

Кроваво-рдеющий рассвет, безветрие.

Кобыла рысила ходко, словно играючи небольшими круглыми копытами; на такой мог бы ездить богдыхан. Когда позволяла местность, офицер пускал лошадь наёмом. Витун на мерине рыжем приотставал.

К Таватую выбирались шагом, сквозь таёжную чащобу. Гнус донимал. Из сырой мшистой земли торчат гранитные глыбы. Солнце уже в зените.

Капитан бросал поводья Витуну, сбегал, прыгая с камня на камень, к воде. Гладь стальная, с чуть розоватым отливом. Угрюмы берега. Прищурившись, смотрел на нестерпимо-калящее солнце широко расставленными глазами. Род свой по матери ведёт от ногойского мурзы.

Офицер сбрасывает форму, кобуру с шестизарядным револьвером Кольта модели «Сандер», ныряет в жгучую ледяную воду. Пока легко переплывает большое озеро туда и обратно, Витун сидит на корточках, держа на изготовку японский карабин с изящным, точно игрушечным, затвором, чутко ловит таёжные звуки.

Выпрыгнув на плоские камни, будто выброшенный из озера самим водяным, Ноговицын роняет тихо:

- Топор!

Ухитряясь не оцарапаться, мелькая в чаще нагим телом, рубит упавшие лесины; перескакивает с одной на другую, как лёгкий зверь. Рубит долго, метким ударом отсекая по толстому суку.

- Уж на пять костров, господин капитан... - Витуну надоело перетаскивать дрова на берег.

Пролетев десяток метров, топор хрустко вошёл в лиственницу.

- Сеть!

Раздевшийся Витун, со спиной силача и оттопыренным бабьим задом, укладывает карабин у самой воды, предварительно вынув обойму. Достав из кобуры тяжёлый кольт начальника, сжимает ствол массивными челюстями, берёт сеть.

Иногда до пяти-шести раз закидывают; заходят в озеро по подбородок. Витун крепко держит зубами револьвер, посматривает на тайгу...

Ноговицын признаёт уху лишь трёх видов: стерляжью, налиమ్ью да «пятерную» - когда в отвар раз за разом добавляют новую порцию рыбы. Эту-то уху и сварил Витун: рыбе сало так и блестит «янтарями». Остужает котелок, погрузив в воду. Подаёт офицеру жестяной ковш коньяку, полный до краёв.

Сидя, оперев локти в колени, Ноговицын выпивает ковш без отрыва; роняет. В руки - котелок с тёплой ухой. Пьёт большими глотками, обливая жиром голую грудь. Вдруг валится на заботливо разостланную английскую шинель.

Через три часа встанет; войдя в озеро по плечи, умоет измученное лицо, постоит с четверть часа.

На исходе день. Быстро свежее.

На лошадей - и к полной тьме выберутся на просёлок... Со вторыми петухами, в Екатеринбурге, соскакивают с сёдел в глухом дворе на Кологривской.

- Не поправиться стакашком, господин капитан?

- И тебе, Витун, не советую. Дед мой стал похмеляться, когда крепостное право отменили. В год сгорел!

Пружинисто взбегает по ступенькам.

Камера с мышинными выщербленными стенами; режущий направленный свет лампы. Шатнувшись, встал посреди высокий ссутулившийся человек; голова клонится. Сколько суток спать не давали? Сон! Хоть на цементе, водой залитом!

Ноговицын, перетянутый ремнями, за столом.

- Вы - учитель бальных танцев? Нет? Запомню. Как же я так...

Мастеровой Никодим Солопов... Любопытно! С вашей-то внешностью? Покажите-с ваши пролетарские длани... Витун!

Удар, вскрик.

- Поднять его, Витун. Посадить на стул, так-с! Борис Минеевич Рудняков. До осени семнадцатого ходили в меньшевиках. И ходить бы вам в них! А то - организация, конспирация... Псевдонимы: Игнат Вятский, Иваныч... Позёрство-с! Ну, какой вы - Иваныч?!

Человек потёр багрово-бурым платком губы в коросте.

- Ошибся в вас комиссар Мещеряк. И сами у нас, и за явочной квартирой Альтенштейна наблюдаем. Из-за вашей промашечки, извольте знать!.. Хотите чаю?

Вскинутая голова, вытянутый кулак со скомканным платком. В уголках глаз - гнойные дробины. Глаза вспыхнули. Потускнели.

- Опрометчиво - доверяться милым застенчивым гимназистикам.

Мишенька не сжёт ваши записочки. Мы поставили агентурное освещение в доме Нотариуса!

Мычание; голова падает на грудь.

- А очаровательная Лиленька из кафешантана «Топаз»? Я понимаю-с, от такого обольстительного создания пахнет ранетом и черёмухой, но назначать встречу со связным за столиком официантки... Витун!

Минут пять спустя - вновь поднятому на ноги, окровавленному:

- Борис Минеевич. Сами того не ведая, вы, как изволите видеть, всё нам преподнесли-с! Идти на виселицу с этакой ношей? Остаться всеми проклятым? Господь вас, атеиста, не утешит.

Ноговицын встал из-за стола, взял стул, сел рядом с избитым. Крепко сжал его руки. Бледные, с узкими запястьями, с длинными пальцами: нервными, чуткими, порозовевшими.

- Не забыли Фаддея Веснянского?

Рудняков, вздрогнув, поднял глаза; белки кровавые.

- Петербург, ученье... вы и он оканчиваете одну частную гимназию...

Крепко дружили? Влиял Фаддей Емельянович! Истый р-русский розовый-с, смею доложить. Довелось на митингах слушать - оратор! А каков беллетрист - эти чарующие штучки: «Кошечка Минуш», «Блондинка в корсаже»...

Рудняков попытался высвободить руки:

- При чём тут... - закашлялся.

- При сём, Борис Минеевич, при сём! Веснянский вовлёл вас в партию. В меньшевицкую, прошу не забывать! Без малого одиннадцать лет вы были с ним единомышленниками! А с большевиками вы сколько? И двух годков нет. Какой вы красный?!

- Вы хотите сказать...

- Угадали-с! Заблуждение - и не более! Ну, вам ли взрывчатку под полом прятать? Фу! А Фаддей Емельянович сейчас во Владивостоке. Живёт и здоровствует. Новеллки пописывает. Председательствует в каком-то там меньшевицком клубе вашем. Хотите, я завтра вас к нему отправлю? В пульмановском вагоне. Вернётесь в лоно вашей партии. А там - хотите, газету издавайте с Веснянским. Хотите - эмигрируйте. Париж, Америка! А здешнее ваше, ха-ха-ха, как немцы говорят, кошке под хвост!

Рудняков пошевелил распухшими губами, кашлянул надсадно.

- Чего вы... домогаетесь?..

Ноговицын глубоко, раздумчиво вздохнул; задерживая, точно курильщик дым, воздух - выдохнул. Отпустив руки Руднякова, вскочил, вернул стул на место. Присел, медленно положил ногу на ногу. Сказал очень тихо, как умеют говорить привыкшие к власти над жизнью и смертью. Уверенные, что словечко каждое с губ поймают, уяснят.

- Несколько дней назад Мещеряк уехал из Екатеринбурга. Куда? К кому?

Витун, как бы с ленцой, переступил с ноги на ногу за спиной Руднякова. Тот втянул голову в плечи.

- То, что с вами сделано покамест, Борис Минеевич, - пустячок. Будут пытки. И вотще сие ваше... Ибо выведем. Ну-с? - капитан встал, не спеша расстегнул кобуру, извлёк кольт. - Зрю глаза ваши. Мольба-с! Всё, что в силах моих... избавить.

Обогнул стол, медленно вытянул руку с хромированно-блестким револьвером. Дуло - в самую переносицу Руднякова. Упираясь каблуками в пол, суетливо, рывками отодвигался вместе со стулом. И вдруг опрокинулся.

- Витун, пульс? Зрачки? Обморок. В лазарет!

Вздохнув судорожно, обильно вспотев, капитан неожиданно грузно опустился на стул.

- Я - спать. В двенадцать разбудить. В четверть первого - его сюда.

Но в восемь утра уже не было на Кологривской ни Витуна, ни Руднякова.

4.

Сосны, сосны, как утешает краса ваша. На слезинке смолы - слезами ствол потёк - паучок; облюбовал янтарную каплю и застыл с ней.

С ветви сорока слетела.

Как под сосну не прилечь, не успокоить взгляд, вершиной любуясь?
А там, за лапами сосен, далеко - меж перистых облачков где-то - жаворонок.
Не устань, пташка!

Шмели гудят, до чего важны. Лягушки заквакали - и полудня нет, а вам вечер? Пойти полюбоваться на вас: как сидите, матёрые, на почти утопших в ржавой воде колодах.

Вот и перешеек топкий. А узок - две телеги еле разъедутся. Если б не он - полуостров, где места в бору птичьи, звериные, притаистые, островом был бы.

По обе стороны перешейка – безмятежные, словно тронутые улыбкой заводи; скользнула под стоячую цвёлую воду усатая мордочка. Выдра - вот кто тревожит лягушек! Нависли над заводями вётлы: тёмное место. Пробиваются, журчат в жирной тине прозрачные струи. Стоит в струе жерех, красными плавниками пошевеливает. Древне-корявый вяз склонился: вот-вот рухнет; купает листья в светлой струе.

По ту сторону заводей, за вётлами - луга, да какие! Рощи липовые, ольховые, берёзовые, орешник; изобилье ягодное, грибное. Бывшие барские уголья тянутся до Царёва Кургана. Три тысячи шестьсот десятин. Посреди - деревня Воздвиженка.

А усадьба барская сгорела давно...

Надоели лягушки. Потянуло от заглохших заводей сыростью, гнилью. А в бору дух медовый. Поредели сосны, широкой полосой протянулся дубняк; тут и дубочки, и старики кряжистые. Сова на краю дупла, как чучело. Сколько земляники! Рогнеде сказать - радость девчонке.

Так и дрожит марево над поляной. Скорее к стожку. Сбросить мешок, провалиться спиной в духмяное сено. Невысоко два кобчика кружат. Приятно глядеть на смелых птиц - стремительно-вкрадчивая сила.

*Ой, да сокол-свет,
Где твоё гнездо?
А моё гнездо
Попалил пожар,
Разнесу я жар,
Ой, на вражий край...*

Кукушка кукует. Да и не кукует вовсе. Подала голос разок, стихла. Поторопиться надо. Страха нет в душе. Но и покою не быть...
А может - напротив?..

5.

За поляной - смешанный лес, клёны хмелем обвиты; буйно разрослась бузина, ярко алеют волчьи ягоды, плоды аронника пятнистого.

В низинке - лопушатник выше колен: на листе лопуха - улитка; переберётся с листа на лист - и день минул.

Заросли шиповника; стрекоз сколько! С ветки ивы жук-олень бухнулся в бочажинку. Экий увалень, право. Поскорее вынуть и на ствол - ползи посушись.

Расступились клёны; россыпь помёта свежего. Ночью лось навестил. Ещё одногодком приметил братца. Теперь - молодец-шестилеток.

Треть лужка обнесена добротнo слаженным плетнём. С плетня воробьи тучкой сорвались.

На огороженном травяном пространстве - крытая дёрном землянка с краснеющей кирпичной трубой. В вольной траве чуть заметны тропки; вьётся одна к баньке, что под рябинами прячется, за краем лужка. А от баньки тропа - к роднику, не видному за репейником, крапивой, снежнягодником. Журчит вода, сливается студёная в просторную барку, врытую глубоко в землю.

Откинулась дверь баньки: девица, в чём мать родила, ядрёная, во всей созревшей женской красе, бегом к роднику. Вдруг пригнулась, ладони - к низу живота.

- Отвернись, папа!

Оглянулся на лес: не глядишь, лось-молодец? Не притаился за ветвями сатир, беспокойно подёргивая рожками? Ветерок пахнул, шелохнув листву. Никак арфа лесная зазвенела? И как бы голос послышался, с козлиным схожий, исходящий сладострастием:

Прелестнее вакханки не сыскать...

Рыже-белая кошка мелькнула в траве, подбираясь к плетню с трясогузками, синицами. Жирный кот спит на тесовой крыше баньки. Из трубы - дымок пахучий: берёза горит.

- Ой, как в прорубь нырнула! - плеск ключевой воды. - Ты что не уплыл, папа?

- Ещё уплыву.

- На «Коммунаре»? Теперь долго ждать.

Недолго... О ногу трётся котёнок. Вот и второй, третий. Самого любимого посадил на плечо. Шорох по траве - закрылась банька.

Потянул на себя тяжёлую, посаженную в наклон, под острым углом, дверь-крышку. Сошёл в землянку по ступенькам из плотно пригнанных один к одному дубовых кругляков; стены, пол, потолок - из твердейших досок от разобранных волжских барок. Русская печка; под самым потолком, во всю длину стен - щели, застеклённые осколками, слепленными смолой.

И невдомёк никому, что осколки - полоски цельнолитого стекла: из тех, что когда-то сияли, зеркальные, в окнах дворянских собраний.

Стол выскобленный, полати, лавка; два чурбана вместо табуреток; станок с точилом, кадка с квасом, ковшик плавает; в углу - ушат деревянный. Стены обвешаны охапками полыни, пучками иван-чая.

Рогнеда вошла; полотняная рубашка до пят. Тщательно промытые рыжие волосы гладко расчёсаны, до бёдер длиной. Оранжевые умные глаза, носик вздёрнутый, в веснушках едва заметных; рот великоват - как красен! Сбережённое от солнца личико после баньки румяно.

- В деревне слыхала: кто в макушку лета парится часто, тому вся жизнь - лето! - рассмеялась, скользнула к зеркальцу, вмazanному в белёную глину печки.
- В такую жару какая-то липкая ходишь, а попаришься - ласточкой себя чувствуешь, папа! Порхать хочется!

Лёг на лавку, заложив ладони под затылок с косицей.

- Поешь, папа?

- Спроворь, милая. Как купчики говаривали.

Хохотнула.

Откуда тебе знать, что за купчики были?.. Не об одних барышах толковали за самоваром. Какие храмы строили, состояния жертвовали. И социалистам благодетельствовали тоже...

Раздвинула охапки полыни, толкнула неприметную дверцу; вынесла из кладовки тарелку с нарезанной ветчиной, миску с размоченными галетами, консервную банку с американскими бобами.

- Папа, опять видела на берегу толпу детей. Лягушек ловят, выползней собирают: животы вспухли! - неожиданно навернулись слёзы. - А мы... вон что едим!

Сел за стол.

- Их отцы пожелали... новой жизни.

- Они хотели счастья, папа!

- А мы - несчастья?

- Вы их счастья не хотели!

Сказала - и какой страх в глазах... Как боится его! За что - такое?

Впрочем...

- Худо тебе со мной, Рогнеда.

Отвела взгляд. Как же ты в деревенской школе притворялась?.. Встал, не притронувшись к еде, опустился на лавку.

- У тебя кончается «Абрау-Дюрсо».

- Кончается! Всё!.. О счастье толковала... Все эти годы здесь - оно у меня было!

Быстро подошла, гладит поросшую редко-колючим волосом щёку.

- Болен, папа?

- Мне помогал здешний воздух...

Молчание.

- Милый... - обвила ласкающе-горячими руками, к груди прильнула, - это нельзя, но мы же не кровные... Ты мужчина - я всё знаю - тебе нельзя одному...

Резко отстранил, скрипнул зубами.

- Ты так с ума сойдешь! Я в книге прочла, когда клеила. Ты одни старые привозишь... ты не старый ещё, тебе не воздух...

- Принеси книжку!

Метнулась в кладовку; подаёт. Истёртая с прозеленью обложка. Фаддей Веснянский. «Безумие мученика».

Разумники, как Веснянский сей: что понимают они в безумии?..

6.

Осенью девятнадцатого свалил сыпняк. Следом - возвратный тиф. В санитарном поезде - сестра милосердия; за тридцать, старая дева. Сухощавая, с пористым сероватым лицом, впадинки под скулами, горячечный блеск в глазах.

- Вы бредили о Воздвиженке на Волге. На другом берегу, в Зайцево, - мой дядя Конырев. О чём вы кричали! Как бились! Вас в бездну тянут!

- Спасите, ежели охота пришла.

- Не смейтесь! Я без позволения на войну ушла! У моего отца в Самаре - москательные лавки, торговля тёплым товаром, хлебная... Были... - перекрестилась двуперстием.

- Раскольница?

- Мы - христиане истинные! У меня чахотка, век мой короток. Но даст Господь-Вседержитель - ещё послужу...

Головная боль, тоска кровоточащая; безысходность. Армия бежит, бежит от красных; разваливается.

- О себе сам позабочусь. Уйдите!

Вдруг показала его кольт, бросилась в тамбур. Вернулась, дрожаще-изнурённая:

- Страшное задумал! Измаялась в крови душенька твоя, мрак, скверна в тебе. Единое светлое пятнышко вижу: стожок на поляне.

Вспыхнул жёлтый фонарь в вагоне ночном. Застилает пелена глаза, сотрясается тело - в падучей будто. Заговорил, заговорил о цветущих лугах вокруг Воздвиженского имения... как мальчишкой взбирался на Царёв Курган, подраненного коршуна выходил. Как скакал, с родным гнездом прощаясь, на игренево дончаке. В двенадцать лет.

«Я там начался! Мы там все начинались...»

Рванулись из пересохшего рта слова - гной из изболевшейся страшной раны:

- Будь на престоле другой монарх, не случись войны с Германией - прибывали бы млеко и мёд на российской земле, наполняло бы Волгу драгоценное миро, длилось и длилось бы благоденствие по безмятежной России... Царь - верователь египетский, спирит, друг растлителей-колдунов - не удержал страну от войны, а потом и вовсе ввергнул её в трясины. А мы, родовая знать, не только не встали стеной против войны - наоборот, ринулись в неё с бахвальством... но всего ужаснее: погнали на гибель сотни тысяч невинных

кормильцев русских! Потому что мы сами были растленны в тщеславии, в заносчивом себялюбии...

Сестра приблизила пронизывающие горестные глаза:

- Почувствовал правду. Вот оно, истинное, в тебе светит! Не стыдись, отворишь душу. Знаю, нудно тебе: укрепились бесы. Не каялся, любил самохвальство, привык к сладкому угождению, к ублажению...

Отвернулся к стенке, сказал как в беспамятстве, что восемь месяцев назад жена-красавица ушла к жёлтому кирасиру князю Туганову, любимцу атамана Анненкова.

- Плачешь по ней?

Смолчал. Поняла - плюнула яростно, застонала.

- Тебя кровь пролитая сжигает! язвы гноятся! А прелесть бесовская всё одно не отпускает... - шёпот прерывистый, кашель. - Или не открылось тебе, что она - блудница мерзкая?

«Я мерзее».

Сжала плечо вздрагивающими руками, прижалась мокрым от слёз лицом:

- Господи, что делаю! Срам какой... грех какой... Господи, прости! Обрати мой грех ему во благо! Не отдай его душу! Спаси, сохрани...

Вскрикивают в бреду, стонут раненые; трясёт вагон, мечутся тени; сестра милосердия молится шёпотом, задыхается, крестится истово, судорожно вскидывается в плаче.

Не скоро затихла.

- Под утро с поезда сойдём, не противься. Поведу. Узришь твою отчую поляну.

- Имя, сестрица?

- Секлетя, брат.

7.

В двадцать первом, в голод, появилась в Зайцево у мельника Коньрева чахоточная племянница с муженьком полудиким.

- Ты не башкир? - спрашивали севшими от истощения голосами.

- Моя не баскир!

- Должно, вотяк али самоед.

- Ага, моя сама ест. Только давай!

- Э-ка, развеселил! Хитёр выжига. Давай ему! Кликать-то как, леший?

- Орыс. А по-русски - Сидор.

На пристани подобрали с Секлетеей снятого с парохода умирать заморыша: девочку лет приблизительно от пяти до восьми.

Тогда почти всё Зайцево повымерло. А потом пришлые стали оседать. Манили заросшие просторы.

Видать, не в радость Сидору с бабой многолюдье. От Коньрева перебрались с приёмышем на Еричий полуостров, вырыли землянку. Сидор стал резать из липы ложки, посуду, переправлялся на лодке в Зайцево точить ножи, топоры. На Еричем косил сено для мужиков, сезонами подряжался работником к Коньреву.

И не ведали в деревне, что у Сидора есть «приварок» к незавидной каждодневной пище. В тайниках, Секлетее известных, немало ценного сохранилось от отца, убитого красными...

В начале зимы двадцать четвёртого года умерла Секлетее. Ночью попросила уложить Рогнеду в баньке, вытянулась на лавке, иссохшая; под голову велела подсунуть мешок со стружками: негоже, чтобы голова умирающей была на пуховой подушке...

- Господь не оставлял тебя, Серёжа... Иду молить, чтобы и впредь не оставил. Умолю, чтоб умягчил твоё сердце, чтоб ты грехи отмаливал, не помышлял о мщении...

- Ложки режу я, Секлетее. Липой доживу.

- Не шути, Серёжа. Не иной кто - я ухожу! Нянька твоя, сестра, мать. Глаза сухие, колят.

- От дома твоего - осколки... узенькое оконце, а светит. Отвори окошко в душу твою! Прими истинную веру! А наши не по тебе тут - в Америку пробирайтесь с дочкой. Денег вдосталь. И должники отцовы живут...

Сжал ладонями её изжелта-серое лицо, коснулся пальцами ямок под скулами.

- Если б не захотел с тобой с поезда сойти, давно б в Америке был. Сквозь вот эти стёклышки на меня, младенца, здешнее солнце светило. Воздвиженская церковь, где крещён, устояла. Святой мой - Сергей Радонежский.

Повлажнели глаза; в последний раз тихо заплакала.

- От людей ты отпал, но и Богу не служишь. Вымолю просветленье тебе... Господи, наставь.

Гроб с покойницей увезли на барке в Самару. Секлетее! В лихорадочные годы привела в заповеданное место, подарила покой среди Еричьей красы, тихости...

Что до людей? Живу как деревья, травы, рыбы.

Весной послал Коньрев купить тройку лошадей. Издалека пригнал Сидор кобыл, молодых, диких, храпящих. Объезжал на выгоне, что протянулся до песчаного волжского берега. Дивились мужики отточенно-привычной, «природной» сноровке наездника:

- Как чует он лошадь-то!..

- Татарин!

- Да не татарин он!

- Всё одно - татарская манера... то-то и нюх!
- А руки-то, примечайте: вёрткие, что щучки! Всё-о-о знают!

Перед коллективизацией сгинул Конырев. Ложкарь, в одной рубахе, в опорках на босу ногу, по глубокому снегу прошёл в правление.

- Моя говорит, Егор - враг большой! Искать нада! К стенке ставить нада!

Был записан в колхоз как первейший, зарытый в землю бедняк, который тянется из одичалой тьмы к сознанию момента. Приволок на верёвке всё хозяйство своё: длиннобородую козу, хрипевшую от какой-то хвори. Козу поспешили прирезать: кровь из горла не била, лишь вытекла малость.

8.

Четыре дня минуло с того утра, как не уплыл в Самару. Переправил в Зайцево заготовленное сено. Ночью изрубил выкорчеванные, в три обхвата, пни, распалил костёр - как багровело вокруг! Как снопами искры уносились! Как трескуче-яростно рвалось сердце кострища!

Сегодня было облачно, вечер прохладен. Моросит; на рябой реке - лодка. Тихон с удочками. Жигулёвские горы - за сумрачно-густеющей дымкой. Небо над горами заволкли тучи, грознеют.

Присел меж деревьев у края обрывчика; на стволе тополя - змейка тонюсенькая: муравьи спешат вниз. Стрекоза на ромашке - глаза вспыхнули, отразили зарницу.

По отмели голуби бегают; метрах в ста от реки, под рыхлым откосом, костерок чадит. Мальчишки над котелком.

- Моя-твоя шастает.

- Он овраг знает, куды лоси-то уходят сдыхать. Их жрёт.

- Дед Малайкин всё хотел выследить, да помер.

- Сколь дней бабка-то проживёт?

- А Степугановы Прощка и Колька свежатину досыту...

- Так и свежатину?

- А то! Степуган жеребёнку глаза выколил, с председателем браковку написали. С печатью! Зарезали, с ветельнаром поделили...

Застрекотала сорока: от перешейка рысил всадник. Повернул на дым костра, вздыбил лошадь на краю откоса, с мальчишками заговорил.

9.

Вернувшись в землянку, застал Рогнеду у бурлящего самовара: посуду расставляет.

- Оставь только чашки. Гость к нам. В бане закройся.

Прибавил пламени в лампе; снаружи фыркнула лошадь. Откинулась дверь. Постояв, осторожно спустился крупный человек в парусиновом плаще.

- Оперативно определил ваше лежбище, Сергей Андреич!

Сняв плащ, поискал глазами - зацепил за сучок, торчащий из доски. Фуражку положил на стол, расправил чесучовый френч. Сел на чурбан.

- Экая краля шмыгнула на зады! Зря опасаетесь, Сергей Андреич. Рыжая, а я исключительно смуглокожих уважаю! У меня молодочка, с Дона, волос - вороново крыло! Даже и по ноге эдак мелко курчавится... нехорошо чего-то глядите - не по вашу я жизнь... А это, характер ваш зная, на случай, - положил перед собой наган.

- Ковш! - взгляд на кадку.

Гость, оторопело зачерпнув, протянул. Короткий взмах - квасом плеснуло в ноздри: захлебнулся. Наган - в руке Ноговицына.

- Встать! Говорить!

Вытянулся, не смея утереться.

- Да што я, господин капи... Ну, понял - верх ихний будет. Вы-то - шасть за границу, языки знаете, обхождение. Пристроитесь. А я? Своя тропка нужна... Вытащил Руднякова. Скрой он про меня, словечко замолви - если б не в ЧК на службу, то младшим красным командиром я б стал на первый раз. А он, как вышли к ним, на меня: «Палач! В трибунал!»

К палатке трое ведут. Один - сопля. Я - споткнись, он меня невзначай штыком в локоть. Я в стон. Оборачиваюсь: «Чего калечить-то?» Бац - винтовку! Одного - пулей. Соплю и другого - штыком. И скитался же я...

Держа наган в правой руке, Ноговицын левой налил полчашки чаю, отхлебнул.

- Присесть-то можно, Сергей Андреич?

- Продолжать.

- А в двадцать седьмом я самолично Руднякова нашёл. Не верите? В газетах прочитал: намекали на его причастность к троцкистско-зиновьевскому блоку. Значит, арест грозил. Тут всяко лыко в строку. Я сказал ему: «Пускай меня кончат. Но сперва на вас докажу: вы екатеринбургское подполье выдали! А про трибунал нарочно кричали, сами ж мне и бежать помогли!»

- Дальше.

- Пристроил поваром. Потом обвинение с него вроде сняли. Подфартило. Помните Мещеряка? Рудняков его обвинил в правом уклоне. И Альтенштейна. А Коростелёва, что Нотариусом проходил, обвинил как главаря контрреволюционной крестьянской партии... И в верхи взлетел!

- Всех этих людей, благодаря тебе, он спас тогда, в девятнадцатом.

- Ну, тогда-то!.. А теперь, при его делах, я ему - нужнейший человек! Я теперь - Фрол Иванович Гуторов, уполномоченный Самарского исполкома по сплошной коллективизации. А Борис Минеевич - ответственный аж за всё Среднее Поволжье, включая Оренбургский округ. Это ж восемь миллионов душ! Сколько деревень - к ногтю! Овцы друг на дружке шерсть гложут. Скоро краснопузые мужички своих мертвяков, детёнышей жрать будут!

Выбил из барабана патроны, метнул горсть через всю землянку - прямо в ушат. Швырнул наган гостю - одной рукой словил, спрятал.

Властно-давяще зазвучал голос Ноговицына:

- Мой отец, тайный советник, под началом блаженной памяти Петра Аркадьевича Столыпина служил. За престол и свою, и мою с братьями жизнь отдал бы. Человек же, на престоле сидевший, не снизошёл навесить умирающего Столыпина, «спасибо» ему сказать за его деяния... Измерзил престол дерьмом Гришки Распутина. Толкнул страну - ей век жить, нападения не знать - в побоище, от какого и пошло падение...

Мне, по растленности моей, поздно это открылось, а как открылось - думал, один исход от мыслей: смерть. Однако сподобился: и умер, и живу. И когда зажил - умершим-то, - ушёл из меня жар. А из тебя, Витун, вижу, не уходит?

- Так и стоять мне?

Ноговицын чуть наклонил голову: гость сел, промокнул толстое лицо подкладкой фуражки.

- А мой папаша скотом промышлял. Прасол потомственный. Овец своих, чистопородных, одна к одной, до полтыщи бывало! Барана с выставки - и на стол! Не жалко. Деньгами ссужал, кожевенный завод присматривал... Сладка им наша баранинка...

Положим, я сейчас ем даже слаще, чем могло бы быть, не порушьюся жизнь. И права над человеком у меня такие - отцу с перепою никогда б не приснилось... - Витун вздохнул продолжительно. - Но я не живу с лёгкой душой. А имей я мою полтыщу овец - я бы жил с лёгкой душой! Мне бы, почитай, день за днём было удовольствие, что через моё уменье, через ловкую работу достояние у меня растёт.

- А теперь, - сказал с деланно-ёрнической нотой, - у меня удовольствие от того только, что смертью мщу...

Огромные руки (в запястьях мослаки - с куриное яйцо) подрагивают мелкой частой дрожью. Пот каплет с лица, губы кривятся.

- Мщу - и, знаете, чего мне при том боле всего не хватает? Без оглядки завывать! Ох, как бы я вы-ы-ыл, как вы-ы-ыл!.. У всех, кто бы слышал, кожа б на хребтах отмёрзла. - Гость ощерился, показав крупные тесно сидящие зубы, тронутые желтизной. - Оттого у меня тяга завывать - что авось отзовется какая ни есть своя душа... Как давеча с парохода увидел, узнал вас - так во мне и стонулось всё от пяток до темени. Выжил - и не за границей, на нашей родной земелюшке выжил: ай ли не радость?! Вот, думаю, чья душа - коли откроется - верняк покажет!

Витун ищуще прилип взглядом к лицу Ноговицына:

- Уж никак не поверю, Сергей Андреич, что нет у вас злости на тех, кто ваше дорогое, рапрекрасное отнял. А коли обманываете... про жар-то, хе-хе, -

то и у вас, - он хищно хихикнул, - и у вас в душе - тяга завывать. Вот и показала душа верняк! Значит, вместе нам легче будет. С вашей-то головой мы им в сто раз больше урону нанесём!

Желаете, по финчасти приставим? Или в нарпит? А то - по заводам охвостья Промпартии выявлять. Всё в наших возможностях. У Руднякова - какие главари в друзьях! Смирнов - он в Оренбуржье, в девятнадцатом - ого! - шесть тыщ казачьих семей расстрелял. Сокольников! Осенью восемнадцатого, в Ижевске, - пустил в расход семь тыщ рабочих. Белобородов - обеспечил распыл царского семейства. А разве не поделом? Царь-то, сами сказали, и довёл до всего...

- Болтлив стал, Витун.

Привскочил, оправляя френч:

- Виноват! А я вам водочки привёз. В седельной сумке - мигом...

- Не надо.

- Отвыкли никак? - помолчал. - Чем пробавляетесь-то? Квас - вон, а хлебушек?.. Не скажете, знаю. Характер.

«Смирения мне! Смирения...»

- А вы у меня не одни здесь. Вон чего активист мой тутошний доносит! - вынул из нагрудного кармана сложенный лист, развернул. - Не слышали про такого Степана Калистратова? Коровёнкам хвосты крутит. Ликбез - впрок.

Стал читать, наваясь грудью на стол, подставляя бумагу под свет лампы:

- Тихон Ханыкин владеет двумя лодками и вражески агитирует, что над обчим стадом поставлен вредный пастух... - развеселился, большое мясистое лицо замаслилось в ухмылке. - Сторож с пристани Ксенофонт Лялюшкин скрывает, что сын дьячка, от мово трезвого глазу, какой поставлен сверху начальством, подпольно укрывает кролей числом пять.

Наклонился ниже, разбирая каракули:

- Отказал сдать в колхоз лайку прозваньем Злодей, в какой лайке нуждаемы для шапок и другой обувки. А его прежнего кобеля с опасным именем Ругай я бесстрашно заколол вилами за сабантуй, как лаял против заготовки яиц... - в смехе запрокинул голову: - Сабантуй! Видать, хотел сказать - саботаж. Хо-хо-хо-оо!

Палец вонзился во впадинку внизу горла - гость дёрнулся, выпучив глаза, зевая, как выловленная рыба, отвалился на пол.

Струя кипятку из самовара: вздрогнув, взвизгнул, рванулся. Замычал, замерев.

- Не один я у тебя здесь? Сровнял?

Не шевелясь, в ужасе глядел снизу на исходящий паром самовар.

- Ни чуточки не переменились, Сергей Андреич... - перевёл дух. - Не тешьтесь. Кончайте топором.

Поставил самовар на стол.

- В загробную жизнь, я полагаю, не веришь?

Человек - навзничь лежит - взволновался:

- А это зря вы! Всегда я верил и верю, что тутошним не кончится. Конечно, что там калёные сковороды или, напротив, сады - не верю. Но я знаю: срачи там будут со срачами, а гордые с гордыми!

«Гордые - с гордыми...»

- Встань, Витун. Чаю выпей у меня.

Гость, поднявшись, вернулся за стол в какой-то твёрдой неспешности, строго принял из рук хозяина чашку круто заваренного им чаю. Ноговицын ложкой щедро насыпал сахару.

- А ты гордый, Витун? - хозяин смотрит в упор. Гость ровно поднёс чашку ко рту, подув, отхлебнул в некоем отдохновении.

- Помните, под Белебеем нас отрезали? Было наших не мене двухсот человек. Офицеров немало... среди них - кавалерийский ротмистр, гвардеец-полковник. Но под кинжальный огонь кто кинулся первым? Вы. И я - вторым!

Лицо стало вдохновенно-суровым, напряжённо пригубив чаю, произнёс с расстановкой:

- Выпади мне - третьим, я бы на месте остался. И вторым - кроме как за вами - ни за кем!

Ноговицын налил себе чашку, не смотря на собеседника - словно и нет никого, - как бы сам с собой поделился:

- До чего надо измельчать, чтобы мстить не виновникам, а овцам.

Витун с болью в глазах мотнул головой. Потом, будто оправившись, сказал в упрямой злости:

- Не овцы они, а сознательная сволочь! Не мне вам говорить, кто жёг усадьбы... А что мне больнее всего - почитай, в каждой деревне они - голодрань ленивая - резали чужой чистопородный племенной скот! После такого жалость к ним меня не возьмёт. Да и сами вы - только играетесь в жалость...

Ноговицын, сидя смирно, ответил тоном странной покорности:

- Я не про жалость, я про мщение. Это - как под огонь кидаться... Коли мстить - то мстить первым виновникам.

Витун хотел перебить - хозяин, низко склонив голову, попросил:

- Дослушай. Знаю - скажешь: вольно вам это толковать, в укромном местечке сидючи... Было - и прошло: с твоим приходом. Посиживал, на ушицу дул - и не горело жара во мне. И ныне его нет. Холод есть! Холод, Витун. Только я моим холодом лютым не мог до виновников достать. А теперь - когда ты послан - достану.

Гость, жадно допив чашку, подался вперёд:

- Вправду будете с нами?

- Буду как тогда - под Белебеем.

Маленькие глаза Витуна тлеют звероватым огоньком.

- Как понять-то вас?

- А ты, как под Белебеем, - будешь?.. Нет, не отвечай... так оно для меня яснее. А понять - в своё мгновение поймёшь. Но *понявши*... - повторил с нажимом: - *понявши* - уже сам не попорть!

Лицо Витуна сейчас вопрошало - вопрошало кричаще, до страдания. Однако же вопроса не высказал. Просунул палец за ворот френча, точно он резал мощную короткую шею, почёсывая её, выговорил о давнем:

- Ротмистра того, улана без коня, - мы все тогда вырвались и уходили - убило, помните? Шрапнелью нам вслед. - Хмыкнул, заключил с презрительным сожалением: - Уж лучше бы кинулся первым под огонь...

- Считаешь, было б это лучше, Витун?

Тот отозвался с отчуждением обиды:

- А чего тут неясного?

Двое сидят друг против друга за крепким, на века сколоченным столом. Самовар, чашки. Землянка в зыбких отсветах керосиновой лампы. Молчание не тянется - течёт своим размеренным, нужным течением.

В какой-то свой миг, не сговариваясь, молча встали. Смотрели друг на друга - и не было слов.

Гость медленно взошёл по ступенькам, выйдя в сырую тьму, дверь открытой оставил. Уже с лошади крикнул:

- В Самаре найдёте меня!

Топот стих за лугом. «Хочу, Витун, чтобы *там ты был с нами...*»

Скользнула в землянку Рогнеда, зябко повела плечами, закрыла дверь на засов.

- Кто это был, папа?

Разводил в бутылке чернильный порошок.

- Бедняга.

- Ты чем-то помог ему?

- Помогаю.

10.

Весь день - дождь. Ворона каркнула близко: в печной трубе, что ли? Вбежала Рогнеда, вымокшая в льняной рубахе, поставила на стол в узкогорлом резном кувшине три камышинки.

Исписывал при лампе лист за листом плотной бумаги; почерк ровный, разборчивый, с сильным наклоном.

К ночи посырело в землянке, Рогнеда затопила печь. Заварил клейстер, заклеил сложенные листы в три самодельных конверта из бумаги жёсткой, дореволюционной выработки, с водяными знаками. Открыл принесённый из кладовки сундучок с книгами, в одну из книг сунуты деньги, на базаре наменянные; нашёл среди них почтовые марки. На двух - серп и молот, на третьей - всадник алый под звёздочкой.

Рогнеда, как обычно, спала на печи. Еле-еле забрезжило - поднял девушку.

Потянулась, расчёсывает огненные тяжёлые волосы.

- Что с тобой, папа?

Страстно-прекрасное лицо. Нездешнее. Под слегка припухлыми веками - глаза влажные; блестят, будто и не спала.

Усадив за стол, сухо распоряжался. Взяв узелок - вот он приготовлен - идти на пристань, к пароходнику «Эра». В Самаре поспеть к московскому курьерскому поезду, там в вагонной обшивке - неприметные щели почтовых ящиков...

Рядом с узелком положил обёрнутые газетой, крест-накрест перетянутые шнуром конверты. Перед поездом газету разорвать, конверты, на адреса не глядя, в щель почтового ящика опустить.

Потом - на скорый, в Красноярск. Оттуда пароходом - в Абакан. Искать тайный старообрядческий скит. Всё отдать: проситься воспитанницей. Пожив в скиту, решать - там остаться или идти в мир.

- Придётся тебе слышать о смирении... В него чаще всего рядится трусость. *Смирение позволено лишь сильным.* Не обманывай себя - смотри: не отступаешь ли ты перед силой людей? Смирение и страх перед людьми вместе не бывают. Перед натиском сильных будь непреклонной. Женская непреклонность рабские царства рушит. За смертельную обиду убей обидчика - хоть и ценой своей жизни. Скажут о подобном: грех. Да - грех! Но этот грех тебе охотнее простится, чем грех паскудства. Запомнила? Так не отступайся!

- А что с тобой будет, папа?

- Со мною - кольцо с рубином. Мать любила.

Отвернулся. Не мог смотреть, как заходится в плаче...

Выскочил в туман, заперся в баньке. И лишь увидав в оконце замелькавшую меж деревьев фигурку, вернулся в землянку, обессиленно влез на полати, заснул непробудно.

А на самарском перроне девушка, когда курьерский, протаскившись, встал, не стерпела. Перед тем как сунуть конверты в щель ящика, прочла: «Председателю ОГПУ...», «Наркому юстиции...», «Военной коллегии...»

11.

Проспав до другого утра, нашёл на берегу давешних мальчишек, привёл в землянку. На столе: открытые банки тушёнки, икры красной и паюсной; сыры, сало, балыки, языки копчёные... снедь, какую не всегда и на самарском чёрном рынке добудешь, какую возил в мешке от людей ушлых, битых, заматерелых.

Но накинулись гости на галеты, на пряники ржаные.

- Уносите всё! Запасайтесь!

Кто доживёт, расскажет внукам сказку об Орысе. Будут и внуки клад искать в яме заросшей, заваленной гнилушками.

Истопил баню, набросал на полок свежего сена, с душицей, выпаренного в кипятке. Щедро плескал на раскалённые камни квас, настоящий на хвое.

Исхлестал о тело полдюжины веников.

В землянке, багровый, сидя за опустевшим столом в чистом исподнем, выпил самовар чаю, то и дело наклоняясь к ушату у ног, омывая лицо ключевой водой. Взбил пену в жбанчике красной меди, бритвой золлингенской стали обрил голову; сбрил бородёнку. Оставил лишь узкие усики, как носил когда-то: две косые полоски - стрелками вниз за уголками рта. Не обошлось без порезов: расшитую утирку в пятнах кровавых швырнул в горящую печь.

Подняв рундук из сухого подполья кладовки, достал гимнастёрку, галифе, сапоги яловые. Взглянул в зеркало: похожий на японца подбористый офицер, моложе своих сорока четырёх.

Взял припасённые, камня тверже, галеты, приготовил скатку, не забыв бритву и помазок, овальное, оправленное перламутром зеркальце.

На отмели сколотил плотик. Ночью сплавился по течению на самый нижний островок, с камышом, с осокой. Нарубил ивняка, поверх постелил шинель.

Дождей не было, двенадцать суток прожил под чистым небом, глядел на звёзды.

На рассвете бросил в котелок с кипятком последнюю галету, высыпал соль. Поев, смотрел на рдеющие угли, кидал на них камышинки.

Кликнул проплывавшую мимо лодку. Парнишка грёб к берегу изо всех силёнок, косясь, разевая рот.

Снял кольцо с рубином, опустил в прозрачную воду. Отдал реке.

На мыске стояла тощая коровёнка. Травка на красноватой глине реденькая, репейник. Солнце поднялось смирное, нежгучее: осень вот-вот. Несколько мужиков у дороги кромсают ножами павшую лошадь; кровавятся внутренности; на сорной обочине бабы в очередь вытянулись - с лоханями, с торбами, с корзинами.

Спрыгнул с лодки, пошёл, слегка косолапя, пыльной дорогой в Самару.

12.

За столом - лысеющий человек в летнем полотняном костюме, на молочной косоворотке - померанцевые пуговицы. Лицо моложаво, под глазами не припухло, а белки - в багровых прожилках. Нет - кажется, не от водки. Ранняя глаукома?.. Неотвратимое приближение слепоты. Интересно - знает? Мрачновато-безразличный человек из Белокаменной.

Сбоку у стены, за столиком, - некто со шпалами на петлицах. На столике - пишущая машинка итальянской фирмы «Оливетти».

Заговорил человек в штатском:

- Гуторова-Витуна мы допросили. Подтверждается.

Кровь ударила в виски - и отхлынула тут же. Легко голове, легко не верящему в близкий конец телу. «Подтверждается!» *Понял* Витун и – *понявши* - не попортил...

Прикусил губу - аж тёплое, кисловатое ощутилось во рту: «А имени твоего, Витун, узнать так и не удосужился...»

Московский гость подровнял бумаги в стопке, приподняв лист, прочёл:

- Рудняков исправно исполнял поручения контрразведки, вознаграждался... псевдоним - Регент, он же - Старицкий... Обслуживал и разведки стран Антанты, у англичан фигурировал как Джокер...

Пауза. Как и положено, ничего не выражающий взгляд.

- Почему вы довели это до нашего сведения? - сказал очень тихо, как умеют говорить привыкшие к власти над жизнью и смертью. Уверенные, что словечко каждое с губ поймают.

Усмехнуться, податься вперёд:

- Обрыдло! В глуши, с мужичьём сиволапым! От созерцания реки постылой осатанеешь! Этот, пардон... - ткнул пальцем в бумаги, - обещал за границу! Счёт в банке! Десять лет ожидания...

Ногу на ногу.

- Ах, ждите! ждите! ждите! - смех - почти истерический. - Кровная арабская лошадь, Булонский лес! Большие Бульвары...

Глаза подёрнулись дымкой мечтательности, запел:

- *За красной портьерой шантана...*

- Прекратить.

Провести пальцами по отросшей щетине:

- В последний приезд Витун передал приказ Руднякова - ещё ждать. Издеваться?! Не позволю!

- Чего ждать?

- Устранения ваших лидеров, расчленения государства. Помимо Руднякова, в заговоре участвуют Смирнов, Белобородов, Сокольников...

Торопко застучала «Оливетти». Впереди тьма, но уже блестит в ней топорик. Начался отсчёт минут до тех последних, когда названных сволокут в подвал, ударит в затылок пуля и брызнет кровь, как она брызгала у десятков тысяч их жертв.

- Хотите чаю?

- Благодарю. Нельзя ли рюмку хорошего красного вина?

- Позже.

Ткнул кнопку. Дюжий, лет двадцати пяти, глазки близко посажены - принёс чай в стаканах с подстаканниками. Удалился, будто нехотя.

- Поговорим подробнее.

- Я знаю от Витуна, что ему известны подробности от Руднякова...

Ах, посланец Москвы! Всё когда-то делается от тебя мертво. А Волга-река и без того нежива. Ночь, костёр на косе. Уха будет кипеть - на отваре из красных, полукрасных, бывших красных... из всех до единого! Какая бурляще-жирная! И до чего же занятый (не пенёк, не куст) рыбачок! - откуда ни взялся - похлебает стерляжью... И заживёт...

Безумие мученика?..

Повесть «Стожок на поляне» следует шестой и заключительной, после повести «Птенчики в окопах», в сборнике под общим названием «Комбинации против Хода Истории».